

СПУТНИК ОДИНОЧЕСТВА

В литературной и околослитературной жизни редко, но встречаются люди, которые сами, быть может, ничего и не написали, но без которых жизнь эта самая была бы намного скучнее и скуднее. Как правило, это блистательные рассказчики и импровизаторы, авантюристы по натуре. Писать они ленивы, но щедро раздают свои сюжеты окружающим. Жизнь их пестра, причудлива и переполнена приключениями.

Одного из таких людей занесло в Одессу. Как сам он писал:

Взвулканив ввысь над Петроградом,
Раскрыв воздушное манто,
Я к южным ветровым оврадам
Направил розовый авто.

....

Но вдруг у южных врат Одессы
В моторе лопнула струна.

Слегка передергивая, можно сказать, что приезд его в Одессу знаменовал начало I Мировой (хоть на самом деле он жил здесь только с конца 1914), а после его появления в Петрограде случилась Октябрьская революция. Этот факт можно считать доказанным, так как уехал он в октябре 1917. Кто знает, останься Петр Ильич Сторицын в нашем городе, может, и революции никакой бы и не было?

Он возникает из ниоткуда. До сих пор точно не известно, когда он родился, где, кто были его родители, где он учился. Говорили, что он не то анархист, не то террорист. Виктор Шкловский позднее писал: "...бывший химик, он же толстовец, он же рассказчик невероятных анекдотов, он же человек, оскорбивший герцога Баденского и явившийся потом на суд из Швейцарии, чтобы поддержать свое обвинение (но признанный ненормальным и наказанный только конфискацией лаборатории), он же плохой поэт и неважный рецензент, невероятнейший человек Петр Сторицын". В устах Шкловского, обожавшего вести себя, мягко говоря, вызывающе, такая характеристика дорогого стоит!

А что о нем говорили в Одессе? Через много лет поэты вспоминали...

Братья Бобовичи. Исидор: "Петр Сторицын – это литературный псевдоним Петра Ильича Когана". "По образованию химик, уроженец г. Елисаветграда... учился в Германии. ...Человек, увлеченный поэзией, он скоро стал центром и меценатом небольшой группы поэтов... По возрасту он был старше нас, ему было тогда лет 30-33. Он был остроумен, словоохотлив, всегда в обществе молодых поэтов". Борис: "Толстый, богатый сын киевского сахарозаводчика..."

Александр Биск: "...завсегдатай Робина ...у него была большая едкость в суждениях,

Одесские футуристы.



Петр Сторицынъ. (Рис. Фазини).
Изъ книги «Смутная алчба».

(1915), "Авто в облаках" (1915), "Седьмое покрывало" (1916), "Чудо в пустыне" (1917). Это первая мощная заявка южнорусской литературной школы. Об альманахах и их авторах неоднократно писал С.З. Луцкич. Напомню лишь, что среди авторов были Эдуард Багрицкий, Анатолий Фиолетов, Яков Галицкий, Илья Дальгонин, Александр Горностаев и столичные гости – Владимир Маяковский, Сергей Третьяков, Вадим Шершеневич. Рисовал обложки и иллюстрировал Сандро Фазини.

Сторицын, похоже, отдавая должное музам, не забывал и Бахуса. Немногие могли на равных всю ночь пропьянствовать с Куприным. Сторицын откровенно пишет:

В костюмы рыжие одеты
За рюмкой желтого вина
Сидели смуглые поэты
За столиком у Робина.

и умел он зло посмеяться и над самим собой. Он сам рассказывал про себя следующий случай: однажды он всю ночь пропьянствовал с Куприным, и уже на последнем этапе, часов в 8 утра, Куприн обратил на него свой мутный взгляд и спросил: "А как, собственно, Ваша фамилия?". И когда тот ответил: "Коган", Куприн сокрушенно заметил: "Я так и думал".

Валентин Катаев: "На деньги богатого молодого человека – сына банкира, мецената и дилетанта... выпускались альманахи квадратного формата с шикарными названиями".

Очевидно, после приезда попал к нему в руки поэтический альманах "Шелковые фонари", увидевший свет в Одессе в 1914. После этого – на свои ли деньги или на отцовские – Сторицын финансирует издание еще четырех. Выходят "Серебряные трубы"

Попадали же к Робина, по Сторицыну, еще экстравагантнее:

Слагая далям поэмметты,
Надев брезентные пальто,
Садятся смуглые поэты
В свой разукрашенный авто.

Ехидную пародию с карикатурами на участников "Серебряных труб" сделал Семен Кесельман. "Оловянные дудки": "Поэт Коган, субсидирующий предприятие, страдающий размягчением мозга на почве русской литературы и онанизма. Сверху – лавровишневый венок". Кесельман был участником "Шелковых фонарей", а в следующие альманахи его не позвали – очевидно, не нашел общего языка со Сторицыным.

Злые языки утверждали, что поэтом Сторицын никаким не был, а все его стихи на самом деле написаны Багрицким. Так ли это – трудно сказать. Но если прислушаться к гласу критики, то согласиться с этим утверждением сложновато.

Из рецензии Марк Слонима на альманах "Седьмое покрывало": "...мало удачны стихотворения П. Сторицына. Они невыразительны, нет в них внутренней необходимости слов и образов". О Багрицком писали много и разное, но вот в этом никто его не мог упрекнуть.

Сторицын был не только поэтом, но и менеджером – замечательным. Он даже из кражи своих вещей сделал рекламу. Трагическое объявление: "В ночь на 9 августа воры проникли через окно с улицы в квартиру Петра Сторицына... похитив при этом весь гардероб, бумажник с деньгами, серебряные часы, всего на сумму около 1000 руб.". Поэт раздражается длинным горестным монологом:

О граждане воры! Верните
Часы мне и паспорт скорей,
Ведь вас в "Новостях" под защиту
Поэзии взял я своей.
На что вам мой паспорт, скажите,
Ответьте хотя бы письмом,
Затем как друзья приходите
Пить чай в мой безрадостный дом.

Каждый год выходит новый альманах. После "Чуда в пустыне" должна была появиться "Смутная алчба". Увы... Кроме названия да опубликованного позднее в журнале "Театр и кино" портрета Сторицына работы Фазини (с подписью "Из книги "Смутная алчба") ничего больше найти пока не удалось.

Сторицын уезжает в Петроград. Он писал театральные рецензии, дружил с писателями, художниками, любил быть если и не в центре, то, по крайней мере, в курсе всех событий.

Как уверяли современники, именно о нем Маяковский написал стихотворение "Сплетник".

История их взаимоотношений довольно запутана. Если до революции Сторицын публиковал отрывки из поэмы Маяковского в "Авто в облаках" и щедро ссужал деньгами, то после... "оказавшись в полном безденежье, стал требовать, чтобы Владимир Владимирович возвратил тысячу рублей, или, кажется, даже больше – сумму, которую одолжил ему еще при старом режиме. Маяковский прислал в конверте тысячу, но дензнаками 1921 года. Купить на них можно было разве что осьмушку махорки", – вспоминал Борис Семенов.

Всем (по крайней мере, читающим людям) известно, что Пушкин подарил Гоголю сюжет пьесы "Ревизор". Сторицын был скромнее – он подарил сюжет рассказа Бабелю. "Мой первый гонорар" написан по мотивам истории, рассказанной Сторицыным.

Петр Иванович Сторицын умер в первую блокадную зиму. Архив его не сохранился, публикации разбросаны по разным журналам и газетам. А в памяти современников он остался замечательным рассказчиком. Его одесский приятель Фазини нарисовал его портрет, а один из поэтов, Георгий Цагарели, описал в стихах:

Как месяц лысый, грузный телом,
Он острых сплетен любит зодчество –
Поэт-чудак в костюме белом,
Чей вечный спутник одиночество.

Алена ЯВОРСКАЯ

В этом номере альманаха мы предпринимаем первую попытку вернуть нравственный долг – собрать все стихи П.И. Сторицына, опубликованные в альманахах, и познакомить с ними современного читателя.

Петр СТОРИЦЫН

Из альманаха "Авто в облаках"

Бензиновый Пегас

Владимиру Хиони

Драконы туч несутся мимо,
И четкий пар встает вдали,
И запах копоти и дыма
Плывет от сохнувшей земли.

Слагая далям поэмтты,
Надев брезентные пальто,
Садятся смуглые поэты
В свой разукрашенный авто.

Расправив радужные крылья,
Взметнув в туман седую пыль,
Как рыжий коршун, без усилья
Взмывает ввысь автомобиль.

И над серебряным простором,
За кузовом взметая газ,
Размеренно стуча мотором,
Летит бензиновый Пегас.

Мертвая петля

Взвулканив в высь над Петроградом,
Раскрыв воздушное манто,
Я к южным ветровым оградом
Направил розовый авто.

Туман небес, как волны, вспенив,
Я видел южные сады,
Где май лазорев и сиренев
Над синей радугой воды;

Где звезды солнцам пели мессы,
Где щеки пудрила луна...
Но вдруг у южных врат Одессы
В моторе лопнула струна.

В костюмы рыжие одеты,
За рюмкой желтого вина
Сидели смуглые поэты
За столиком у Робина.

Мы знали все — нас встретят грубо,
Но все ж, сметая с улиц сплин,
Поют "Серебряные Трубы"
За палевым стеклом витрин...

Пусть желчью солнечных отрепий
Все, как туманом, залито —
Шофер, на лоб надвинув кэпи,
Садится в розовый авто.

Путешествия

Н.Г. Коваленской

1) В Розеллию

В страну раскрывшейся Розеллии
Нас мчал фиолевый поток;
Наш плот — жасминный лепесток
И весла усики камелий.
В страну раскрывшейся Розеллии
Нас мчал фиолевый поток.
Там так сиренев рокот пчел
Над белых лилий снеговозами,
Там рыбы плещутся топазами,
Туманен запах алых смол.
Там так сиренев рокот пчел
Над белых лилий снеговозами.
В шатрах, раскрашенных весной,
Во льду шампанское так розово...
Там в тишине во мгле березовой
Поет гобоев звонкий строй.
В шатрах, раскрашенных весной,
Во льду шампанское так розово.
В траве кузнечик-дирижер
Взмахнул ногой над травным рокотом —
Из оперетки тонким стрекотом.
Весну встречает пьяный хор.

В траве кузнечик-дирижер
Взмахнул ногой над травным рокотом.
Во мгле жасминовых ветвей,
Ликером опьянев сиреневым,
Слагает шелестящим пением
Газелы розе соловей,
Во мгле жасминовых ветвей
Ликером опьянев сиреневым.
В туманы пурпурной Розеллии
Примчал нас радужный поток;
Наш плот жасминный лепесток
И весла усики камелии.
В туманы пурпурной Розеллии.
Примчал нас радужный поток.

2) В Атлантику

Нас мчит лазоревый дельфин
В тумане зыбей, зажженных золотом,
А в небе, радугой расколотом,
Цветет расплавленный рубин.
Нас мчит лазоревый дельфин.
В тумане зыбей, зажженных золотом.
Встает жемчужная заря,
Дрожа меж розовыми травами;
Поют прохладными отравами
Меня хрустальные моря.
Встает жемчужная заря,
Дрожа меж розовыми травами.
Туда, где изумрудный спрут
Заснул за алыми кораллами,
Дельфины всплесками усталыми
На раковинах нас влекут, —
Туда, где изумрудный спрут
Заснул за алыми кораллами.
Вверху проходят корабли,
Килем взрезая воду пенную...
Какую радость неизменную

Несут они в простор земли?..
Вверху проходят корабли,
Килем взрезая воду пенную.
Как хорошо на темном дне
Играть камнями самоцветными
И знать, что криками ответными
Никто здесь не ответит мне.
Как хорошо на темном дне
Играть камнями самоцветными!
Нас мчит лазоревый дельфин
В туман зыбей, зажженных золотом,
А в небе, радугой расколотом,
Цветет расплавленный рубин...
Нас мчит лазоревый дельфин
В тумане зыбей, зажженных золотом.

Быкоподобным

Туманной влажностью одеты,
Встречая каждую весну,
Быкоподобные "поэты"
Мычат на желтую луну.

Навоза сладостный наркотик,
Впитав расслабленной душой,
Мешают красочность экзотик
С нижегородской простотой.

С отвислых губ стекает пена,
И, наглой тупостью горды,
Они средь груд трухи и сена
Влачат тяжелые зады.

Впиваясь красными глазами
В заплыванный и грязный пол,
Размерно стучаются лбами
О деревянный частокол.

Приняв изысканные позы
Пред слюнями тупой молвы,
Вычесывают стихиозы
Из завшивевшей головы...

Наш пут за гранями рассветов,
И не удержит нас никто, —
Уж над зверинцами "поэтов"
Взлетает розовый авто!

О Польше

Широкая аллея, обсаженная кленами,
Резкий визг жестяного петушка на крыше, —
Через два десятилетия, быстрые и неугомонные,
О милые и близкие, я вас вижу и слышу.

На старом кладбище, где белели могилы,
Где зеленые листья дрожали при ветре,
Меж крестов я бродил, молчаливый и хилый,
Белокурый мальчик с именем Петрик.

В дощатом шарабане, потрескивавшем под нами,
В воскресенье в костел мы ездили целовать Распятье.
Матушка надевала чепец, обшитый варшавскими кружевами
И расшитое блестками тяжелое бархатное платье.

Сыро в костеле. Потрескивают свечи.
Дымится ладан. Мальчики поют за решеткой.
Я чувствую, как вздрагивали матушкины плечи,
Как тонкие пальцы перебирали четки.

Вечером мы сидели в выбеленной столовой.
Пили чай. Закусывали пончиками и ватрушками.
Играли в карты. Ссорились из-за семерки трефовой.
Ласкали ручную лисицу. Возились с игрушками.

Приходил отец. Прислонял ружье к стенке.
Сбрасывал ягдташ, набитый перепелами.
Из кармана кожаных брюк вынимал трубку из пенки.
Закуривал медленно и важно загорелыми руками.

Когда же земля одевалась в белые плахты,
На крестьянских санях с гиканьем приезжали гости —
Вся окрестная старосветская шляхта,
Закутанная в медвежьи шубы, опирающаяся на трости.

.....

Из альманаха "Серебряные трубы"

* * *

Я помню день безумно-суетливый
И иглы солнца в зыбкой вышине.
И было странно мне, что светлые извивы
Уступят место черной тишине.

День был манящим, дерзко-обнаженным,
Изменчивым и трепетно-живым,
Смешавшим свет со тьмой и смех со стоном,
Бросавшим в небо копоть, чад и дым.

И я — в плену дневного ослепленья —
Покорно гас, страданья затая...
Но не было конца тяжелому мгновенью
Горящей Вечности и Спутника ея...

* * *

Уходит страсть... Тайком, несмело
Стучится в сердце новый гость.
Я знаю, как маняще тело,
В руках дрожащее несмело
И нежно-гибкое, как трость.

Я знаю все — и запах пряный
Твоих изысканных духов,
И шепот в полумгле туманной,
И поцелуй томяще-пьяный.
Обрывки несказанных слов.

Я знаю все, — но новым миром
Моя душа освящена;
И над серебряным потиром,
Овеяна блаженным миром,
Моей любви цветет Весна.

**Посвящается
Н.Г. Коваленской**

1.

Я одинок опять... И въ номеръ отеля
Я думаю о вас, мечтаю лишь о вас.
И так текут часы, проносятся недели
И новую тоску несет мне каждый час.

Когда в туманный день иду по переулку,
Зарыв лицо свое в пушистый воротник,
Я слышу, как шаги отсчитывают гулко
Сожженных дней число, разлуки каждый миг.

А вечером один, отдернувши гардины,
Облокотясь, сижу у темного окна
И вижу, как вдали над башнею старинной
Зеленоватый герб означила луна.

2.

Мы вновь с тобой вдвоем — скиталец и актриса...
Я вижу в светлый миг свободную рабу,
Избраннику мечты, духовному Парису,
Дарящую, как страсть, священную борьбу.

И сердцу своему, недавняя рабыня,
Поверит и игру отбросит гордо прочь...
И Голос скажет ей: "Свободная отныне —
Люби уставшего, проснувшаяся дочь!"

3.

Вам не постичь в моей тоске угрозы
И ропотов ее не заглушить ничем;
Пред вами не актер в давно знакомой позе,
А человек, себя предавший всем.

И я предам себя лишь оттого, что знаю,
Что одиночества в моей вселенной нет;
Но мир молчит от края и до края,
Но мир таит в молчаньи свой ответ!

Я потерял надежду на участие,
И ночь грозит, и все же надо жить!..
Но вас, так страстно ищущую счастья,
Я и в тоске не в силах позабыть.

Из альманаха "Седьмое покрывало"

Пляска Саломеи

Завесы пламенный полет
Уже шуршит над головами,
Уже под влажными губами
Тоскуют флейта и фагот;

Уже овевая страстью,
Ужаленная злой тоской
Она танцует пред толпой
Под звон сверкающих запястий.

Не так ли в древней Иудее
Под рокот труб и бубнов гром

Плясала буйно Саломея
Перед народом и царем?

Качались опахала странно,
Взвивались пестрые шелка
И голову
Держала черная рука...

И царь под тяжестью порфиры
Любовью опьянялся вновь,
И мерно капала с секиры
На огненное блюдо кровь.

И серьги в розовых ушах
О плечи бились пламена,
И туловище Саломеи
Дрожало зыбко на коврах.

Авиатору

Шум от винта, как рокот грома,
Прорезал солнечный туман,
И от песка аэродрома
Поднялся ввысь аэроплан.

И туч рубиновые цепи
Тянулись медленной грядой,
Когда на лоб клетчатый кэпи
Он сдвинул смуглою рукой.

Дыханьем сладостным и новым
Вздымался розовый туман,
И на заре крестом багровым
Вырезывался моноплан.

Когда ж терялась все безвестней
Во мгле туманная земля,

Какие сладостные песни
Ты пел у мощного руля!

Ты ждал разгадки тайны звездной,
И вот, как бремя, тяжело
Нависло над тобою грозно
Безумья черное крыло!

Твоя душа с крылами птицы
Рвала железное кольцо,
Но смерти тусклые глазницы
Смотрели в бледное лицо.

Теперь конец! Замоккло Слово,
Нависнул сумрачный туман,
И руки мощные сурово
Не бросят ввысь аэроплан!

Люстдорф

Уж летней сладострастной дрожью,
Как встарь, пропитана земля,
И развернулись ржавой рожью
Раскинутые вдаль поля.

И вот — сквозь пыльные туманы,
Как дым, одевшие луга,
Мерцают моря шелк желанный
И золотые берега.

Огнем прозрачным и томящим
Стеклянный воздух ослеплен;
По рельсам узким и дрожащим
Бежит измученный вагон.

И ветер ласковой струею
Летит над мглою тихих мест,

Чтоб пыль прозрачной кисеею
На кирке затянула крест.

На желтом пляже зонт раскрытый,
Шаланд раскрашенных ряды,
И запах соли, с ветром слитый,
Плывет от голубой воды.

Давно забывши ураганы,
Здесь влага нежная легла,
И плещутся в воде стеклянной
Лишь загорелые тела.

Александр Горностаеву

Овеянные желтой пылью
В пустынном сумраке Весны
Пылают огненные крылья
Неопалимой Купины.
Но он тоскует неизменно,
И кажется, в ночи цветет
И лоб, венчанный черной пеной,
И влажный чуть раскрытый рот.
Творца воздушная Десница
Ведет его из пустоты
В страну, где кроет багряница
Леса, и воды, и цветы.
Шершавый крест сжимают длани.
И над торжественной землей
Он видит, как горит в тумане
Лун семисвечник золотой!
Пылай, просторов багряница!
Гляди внимательней в эфир!
Слетит ли с тучи Колесница,
Освобождающая мир?!
И он глядит в простор безлюбый
Сквозь солнца фимиамный дым,
Внимая, как рокочит трубы

И стонет светлый серафим.
Но примиряясь и тоскуя
Он ждет Спасителя в цветах
И молча жажду поцелуя
Таит в пылающих устах.
Душа в туман струится змейно;
И вот, пролив глухой елей,
Лазурь приемлет тиховойно
Причастье золотых полей.
Крик журавлиный в небе тает,
Высок и ясен звездный Дом,
Он молча дол благословляет
Трехперстным медленным крестом.

Памятник Пушкину

Асфальт от солнца размягченный,
У пушки два шара гранат;
Застыли серые колонны,
Поддерживая циферблат.
И над гранитным водоемом,
Где летом нежатся цветы,
Сверкают бронзовым изломом
Поэта строгие черты.
Безрукий бог, плитой тяжелой
Подъятый к синим небесам,
Ты внемлешь рокоту Эола
И набегающим волнам.
А ночью, полог туч раздвинув,
Луна туманно и светло
На спины бронзовых дельфинов
Льет серебристое стекло.
Внизу гудки, суда и трубы,
Вверху закованный пророк.
Лоб мощен, строго сжаты губы,
Глаза незрячи, нос широк.
В воскресный день, в древесной сени
На памятник глядит народ:

Им любви тяжкие ступени
И шеи дерзкий поворот.
Гонец Меркурий легконогий,
Деметра в тоге снеговой,
С улыбкой сладостной и строгой
Божественный хранят покой.
Он молча спит в дыму былого
Под стук пылающих часов,
И в завываньи ветра злого
Звучит напев его стихов.

Памятник Ришелье

Старинным профилем чернея,
Он спит угрюм и одинок,
К нему влюбленные аллеи
Несут оранжевый песок.
Своей державною рукою
Указывая путь судам,
Он к шуму улиц стал спиной
И повернул лицо к волнам.
И даль туманных зданий тает,
И улицы широк поток,
И плащ тяжелый ниспадает,
Ложась у выкованных ног.
Он смотрит гордо и открыто
В простор, где пляшет серебро,
В плиту тяжелого гранита
Впилось чугунное ядро.
Фонарный газ шуриша мерцает,
Проходят пары вновь и вновь,
Он бронзою благословляет
Внизу текущую любовь.
Над ним жемчужная свобода,
За ним распланный гранит,
И тяжкий возглас парохода
Его покоя не смутит.

Сын юга спит в стране метели,
И боги ласковой земли
Под звуки бронзовой свирели
На пьедестал его взошли.

Стихи — Сторицыну

Георгий ЦАГАРЕЛИ

Сторицын

Как месяц лысый, грузный телом,
Он острых сплетен любит зодчества —
Поэт-чудак в костюме белом,
Чей вечный спутник одиночество.

Бесстыдно грезя о разврате,
Хоть грех считает безобразием,
Он с девушек снимает платье
Своей чудовищной фантазией.

Порой, к ушам поднявши плечи,
Гримасы корча стенам комнаты,
Он пляс "Недоумелой свечки"
Танцует, грустный и непонятый.

И, ярый враг земным заботам,
Вдруг вскрикнет юно и восторженно:
"Ау-а-ач! Торгую потом!"
В кафе за вазочкой с мороженым.

Лишь изредка, томясь в печали,
Судьбой безжалостно развенчанный,
Рассказывает о морали
И о какой-то чистой женщине.

Приказ № 2

К оружию, граждане,
Революция в Китае.
Я приказываю каждому.
Пусть крыши пылают,
Вынося резолюции
По всякому поводу.
Вооружайте толстых,
Толстых вооружайте,
Бронежирные вперед и далее...
К оружию, плотные граждане...
На солнце обмотки,
На Сторицына шины,
А стихи его в топку
Бронебойной машины.
Полюбуйтесь, граждане,
Петр и революция.
Где же контра, где враг?
С кем драться?
Не шуметь, не кричать
Я командую...
Каждый сам себе враг,
Мировое пли...
К оружию, граждане.
Ведь в Китае революция
Толстые и важные
По прямому сплетутся
За честь революции,
За честь пролетариев.
Радио из нервов
И ни одной резолюции!
Изнасилована Венера
И всемирная проституция.
Только поголовной мобилизацией
Надо сражаться,
К оружию, граждане,
В Китае революция.

пуд
 пикантнейших деталей.
"Ну... —
 начнет,
 пожавши руки, —
обхохочете живот,
Александр
 Петрович
 Брюкин —
с секретаршею живет.
А Иван Иванович Тестов —
первый
 в тресте
 инженер —
из годовичного отъезда
возвращается к жене.
А у той,
 простите,
 скоро —
прибавленья!
 Быть возне!
Кстати,
 вот что —
 целый город
говорит,
 что раз
 во сне..."
Скрыл
 губу
 ладоней ком,
стал
 от страха остролицым.
"Новость:
 предъявил...
 губком...
ульгиматум
 австралийцам".
Прослунявив новость

Вкупе
с новостешкой
 странной
 с этой,
быстро
 всем
 доложит —
 в супе
что
 варилося у соседа,
кто
 и что
 отправил в рот,
нет ли,
 есть ли
 хахаль новый,
и из чьих
 таких
 щедрот
новый
 сак
 у Ивановой.

Когда
 у такого
 спросим мы
желание
 самое важное —
он скажет:
 "Желаю,
 чтоб был
 мир
огромной
 замочной скважиной.
Чтоб в скважину
 в эту
 влезши на треть,

слюну
 подбирая еле,
смотреть
 без конца,
 без края смотреть —
в чужие
 дела и постели”.

1928

Яков ГАЛИЦКИЙ

Посвящается Петру Сторицыну

Проносились моторы, мчались вдаль экипажи,
День, как сотни ушедших, отзвучал, отсверкал...
Кто-то Черный недвижимый стал угрюмо на страже,
Отточив свою злобу, как убийца кинжал.

А кругом было хмуро, и в душе было слепо —
Я ходил по кварталам от угла до угла...
Город был погребальней погребального склепа,
Город был, как гробница из огней и стекла.

Стук моторов сливался, безотчетный и четкий,
С озлобленным шипеньем резиновых шин;
И скользила фигура утомленной кокотки
По прозрачным экранам вечеревших витрин.

Борис БОБОВИЧ

Бульвар в снегу

Петру Сторицыну

Бульвар в снегу, в хрустальном саване.
У памятников — ледники...
Внизу, в оледенелой гавани,
Печальные поют гудки...

И тополи, полны уныния,
Хоронят тайну прошлых дней...
И все грустнее, все пустынное
В тиши покинутых аллей...

Бульвар в снегу. Звонят усталые
Вечерние колокола.
И, снежный день пронизав, алая
Закатная струится мгла...

1914

Проза о Сторицыне

Борис СЕМЕНОВ

Время моих друзей



...А вот еще неожиданная встреча тех лет (впрочем, это знакомство длилось до самой ленинградской блокады) — Петр Ильич Сторицын. Безвестный поэт и друг поэтов... Но каких поэтов! Маяковский, Бурлок, Асеев, Бенедикт Лившиц... Среди "Серапионовых братьев" Петр Сторицын был также свой человек. Удивительно, что никто из именитых современников не оставил нам портрета этого неповторимо оригинального чудака.

Кто-то из литераторов (кажется, это был А.Е. Горелов) взял меня с собой — а было это, пожалуй, в тридцатом году — в закрытую столовую КУБУЧА на Невском (КУБУЧ — Комиссия по улучшению быта ученых, но писатели были тоже причислены к ученому миру). Там кормили вкусно, не хуже, чем в "Астории". За столом сидел с нами пожилой, тучный, неряшливо одетый человек, похожий на артиста Варламова или на безобразного пьяницу Силена с картины Рубенса; у него были обвисшие щеки, красноватый нос и маленькие глаза. Пока мы обедали, а он говорил, я успел вполне оценить изящный блеск сторицынского остроумия.

— Вы знаете, — говорил он, — я придумал название для автобиогра-

фической повести — "Мои Американские горы". Ну как, неплохо? В одной фразе — вся моя жизнь.

Петр Ильич был единственным сыном богатейшего одесского мукомола и воспитывался на деньги отца в Геттингене. Там он изучал и ненавидел химию, зато обожал поэзию, боготворил Пушкина, Тютчева, Фета... Все кабаки немецкого городка знали молодого гуляку. Когда он появлялся с компанией друзей — дверь на засов и пирушка до рассвета...

Из университета Петру Ильичу пришлось уйти вот по какому случаю. В многолюдном праздничном собрании, будучи вполне трезвым, Сторицын подошел, деликатно отстраняя дам, к принцу Вюртембергскому, а может быть, к герцогу Баденскому, и отвесил ему такую звонкую пощечину, что его светлость так и шлепнулся на паркет.

Сторицына оскорбили гнусные насмешки молодого аристократа, и он требовал удовлетворения, но принц, проглотив обиду, отверг притязания горячего одессита, он заявил, что с плебеем драться не будет.

Петру Ильичу срочно выдали диплом и выслали из Геттингена.

Он хорошо знал и крепко любил молодого Маяковского, верил в его высокую звезду. Он даже помог выпустить одну из первых книг Маяковского — раздобыл под каким-то предлогом у отца денег.

Чудом сохранился у меня пожелтевший сборник стихов 1917 года "Чудо в пустыне" (типография Розенштрауха, Одесса, Кондратенко, 16). Авторы этого довольно толстого сборника почти все знакомы любителям стихов: Эдуард Багрицкий, Сергей Третьяков, Владимир Маяковский... За ним идет Петр Сторицын.

Стихи просты и, может быть, традиционны, в них слышатся интонации юного Багрицкого, но уж графоманом молодого Сторицына никак не назовешь.

О Маяковском Петр Ильич рассказывать не любил, он был обижен на него за то, что, оказавшись в полном безденежье, стал требовать, чтобы Владимир Владимирович возвратил тысячу рублей или, кажется, даже больше — сумму, которую одолжил ему еще при старом режиме. Маяковский прислал в конверте тысячу, но дензнаками 1921 года. Купить на них можно было разве что осьмушку махорки или пачку папирос "Пушка".

Между Сторицыным-отцом и Сторицыным-сыном существовало полное непонимание и многолетняя вражда. Однажды старый мукомол опасно заболел, и мать, обегав значные места Одессы, нашла Петра Ильича где-то в трактире на Молдаванке и велела немедленно пойти к отцу с покаянием.

— Но зачем? Вряд ли это принесет ему облегчение!

— Нет, ты обязан просить прощения. Войди и скажи: "Отец, я пришел рыдать на твоей груди..."

Стиснув зубы, Петр Ильич вошел во мрак спальни. Из подушек глядели на него сверлящие глаза старика.

— Отец, я пришел рыдать на твоей груди...

После короткой паузы последовал ответ:

— Рыдай в отдалении!

Эта убийственно ехидная фраза вошла тогда в поговорку у многих литераторов. Если кто-то сетовал, что не успел получить аванс или какой-то студент отбил у него девушку, ему говорили, посмеиваясь: "Рыдай в отдалении"...

Приведенный мною маленький рассказик — один из сотни коротких, полных горького юмора новелл, которые могли составить интереснейшую книгу о взлетах и падениях Петра Ильича Сторицына. Пожалуй, один Михаил Михайлович Зощенко знал все эти истории, он любил одинокого старика, угощал его в Доме писателя обедами, поддерживал в трудные годы...

Воспоминания. Лениздат, 1982.

